

1.

Каждый раз, переступая босой ногой с уютного дерева сеней на стылый камень крыльца, бабка Клавдия съезживалась. Пожеванные губы старухи сводила едкая горечь: «Пошто Ванька мне на старость тако сотворил, шольное-то молодь, попустить бы яво!»

«Шольное молодь» Иван Степанович, пятидесяти двух лет от роду, выглядывал из-за куста красной смородины, поправляя сползающие с отвисшего пуза портки, расплывался в снисходительной улыбке, махал бабке рукой: «Да ну тебя, не угодишь!» – и снова скрывался в густых, богато обсыпанных мелкими алыми ягодами зарослях. Несколько месяцев назад Иван с сыном Игнатом снесли в родительском доме сгнившее деревянное крыльцо и залили новое, шлакобетонное, выложив стройные каменные ступени.

Переживший не одну народную войну и семейную бурю родительский дом изрядно покосился. В последние годы Клавдия ползком слезала по развалинам крыльца. С той самой зимы, когда проклятые перила поломались под бабкиной тяжестью и та прокатилась по беззубым ступеням, поломав шейку бедра, которая чудом на девятом Клавдийкином десятке зажала, старушка уже не доверяла крыльцу, по которому в юности сбегала вприпрыжку, пома-

хивая цветастым платочком, к очередному кавалеру, прятаясь от строгого папаша за баней.

Их, кавалеров-то, у Клавдии в молодости было много. Причмокивая чайком, она любила об этом хвастать внукам, правнукам и праправнучке. Первого кавалера волки загрызли, второй в картофельной яме задохнулся, третьего Клавин отец – Аркадий – вилами чуть не заколол («обрюхатил ведь меня, ирод, да в лесах канул»).

Клавдийкин отец вскоре тоже помер – лошадь взбесилась, протащила его через все поле, ноги до кости разодрала, раздробила. Долго Аркадий мучился в бреду, местный лекаришка только руками разводил и ждал доктора из города. Тот приехал через неделю ранним утром, когда мать Клавки с причитаниями «ох, Аркашка, Аркашка» уже омывала покойного.

Замуж семнадцатилетняя Клавдия выходила с пухом за первого же встречного, которого мать («прости господи, шальная баба была») приволокла за шкурку, когда тот яблоки в саду воровал. «Хоть какой да мужик в доме будет!» – так и отрезала.

Парень оказался сиротой, неприхотливым, чумазым и безграмотным, но работающим и добрым. И если бы не война, разлучившая молодых, может быть, и слюбилось.

Степан родился через два месяца после первой бомбежки. Забота о новорожденном легла на плечи

Клавдийкиной матери, пока сама Клавка трудилась в полях, зарабатывая на хлеб тяжелым, совсем не женским трудом. Что, кстати, не мешало ей вскармливать сына грудью – на мамкином молоке Степка рос почти до шести лет. Присасывался к матери ночами напролет, а став постарше, прибегал к ней и в поле: «Ма-а-а, сисю-то дай».

– Ну и бычок растет, – хохотали товарки. – Смотри, Клашка, он тебя так всю высосет! А потом и к бутылочке так же прикладываться будет!

Между тем парнем Степан вышел крепким, спокойным, забот особых не доставлял – учился исправно, колхозу помогал, бабке с матерью был во всем надеждой и опорой. Окончив школу, поступил в техникум на слесаря, потом в армии выучился на автомеханика и по возвращении домой стал председателем первым подспорьем. Везде Степка на виду и в заслугах ходил – и в полях он, и в клубе, и на стройке, и на целине.

В двадцать шесть лет Степан неожиданно для родных привел в дом невесту. То есть как – неожиданно. На самом деле с Лидией его судьба сводила трижды: в учебные годы знакомство состоялось во время работ по уборке кукурузы, девушка тогда приехала из соседних краев к теткам-вдовам в подмогу; потом повстречал он Лидию во время армейской побывки в городе, они с парнями впервые фонтан видели и девушек разглядывали, «подбирая» каждый под себя невесту. Степан сразу Лиду вспомнил, хотел подойти, дать знать, но увидев, как она за ручки прижимается (как тогда Степке увиделось) с командиром части, вместо приветствия кинул в девушку абрикосовой косточкой, чем и заслужил месячные штрафные работы в армейском сортире.

Третья встреча случилась уже годами позже. Степа повзрослел, возмужал, обрел статус, а он был уверен, что статус его – помощника председателя – весьма и весьма значимый. Да и о женском роде Степка уже разумел, что оно такое и какой подход к нему надо иметь. Приехав в город по председателским делам, Степан зашел вечером в клуб и увидел ее – странновато одетую, в каких-то древних кринолинах, смеющуюся, косами своими темными размахивающую. Спустя два дня Степа возвращался домой с невестой.

Клавдия к Лидии отнеслась прохладно. Жизненного опыта в роли невестки не имела, поэтому девушку приняла как гостью – не самую долгожданную, но в любом случае уважаемую. Молодые быстро друг к другу притерлись, в тот же год Лида родила Степану сына – Иван-то и стал главной отдушиной

в жизни Клавдии. Когда мальчику исполнилось три года, Лидия забеременела во второй раз. Времена были тяжелые, работу женщина не бросала – ходила в здравпункт в соседнее село пешком по десять километров. Помогала фельдшеру, училась медицине, надеялась, что однажды и сама науку освоит, получит образование и будет лечить людей.

В ту зиму мороз стоял крепкий. Лида живот опоясывала шерстяным серым колючим платком и ранним утром отправлялась на работу, по холоду в потемках добираясь до фельдшерского пункта. В один из таких дней по пути в голове у нее что-то помутилось, вокруг все закружилось, Лидия упала в снег и пролежала без сознания три часа, пока местные не отыскали ее, почти полностью заметенную, в сугробе.

Спасали Лиду врачи в городе, куда председатель лично увозил ее на своей машине. Вместе с ребенком Степкина жена потеряла ухо, обе стопы, пальцы на правой руке и способность к деторождению. Правая сторона лица у нее была обезображена в результате обморожения. В больницах Лида провела целый год, за это время Иванушка успел подзабыть мать, и когда ее привезли домой – растерянную, отвыкшую от родных, грустную и молчаливую – опускал взгляд, косился на перевязанные ноги странной тетки и все сильнее жался к мамке Клаше.

Клавдия жалела Лидию отстраненно, словно горе случилось не в их семье, не с матерью ее единственного внука, а с посторонним человеком из чужого села: жалко, горько, но, что уж там, со всяким может случиться, надо дальше жить. Лида первое время почти ни с кем не разговаривала, к сыну, до этого столь горячо любимому, относилась по-доброму, но не ласково, отчужденно. Все больше времени проводила, разминая руку и сидя у окна, – смотрела куда-то вдаль, в сторону леса, не то вспоминая что-то, не то мечтая. Клавдия качала головой, но ничего не говорила, понимая, что помощницы теперь у нее нет.

Один только Степан радовался, что жена вернулась домой. Он словно и не замечал, что Лида теперь калека и что горе в ее сердце никто ни понять, ни унять не сможет. Первое время Степка к супруге с шутками подходил, заигрывал, пытался развеселить, мол, ну что ты, живем ведь, посмотрим, сколько прекрасного вокруг. Потом понял, что дело темное. Лидия от мужа отворачивалась и снова в окно пялилась. Степан пробовал жену подарками одаривать: то брошку привезет, то пряник, то платок шелковый, дефицитный. Лидия улыбалась ле-

Малышня полюбила обезображенную, но добрую «бабку Лидку», как стала ребятня ее простодушно величать, не догадываясь, что Лидия еще совсем молодая женщина.

вым краем рта, так что все лицо ее перекашивало, и Степан невольно вздрагивал. Бросив постепенно все попытки вернуть прежнюю жизнь, Степка ударился в работу.

Проходило время, Клавдия продолжала заботиться о своих мужичках, держала весь дом на себе. Иванушка пошел в школу, здоровый и активный парнишка, он хорошо учился и считал за мамку обеих женщин. Степан стал председателем, вступил в партию, занимался общественной работой, все чаще разъезжал по соседним колхозам.

Выправилась, как могла, и Лидия. У окна часами она сидеть перестала, приспособилась готовить обеды, увлеклась чтением, собирала вокруг себя детсадовских ребятшек и рассказывала им сказки. Малышня полюбила обезображенную, но добрую «бабку Лидку», как стала ребятня ее простодушно величать, не догадываясь, что Лидия еще совсем молодая женщина. Периодически некоторые мамы стали приводить не пристроенных детей в дом к Лидии, чтобы та нянчилась с ними, пока взрослые на работе.

Так и шли дни, текла жизнь, словно ручей, пробираясь сквозь буераки, протачивая камни и вымывая земли, где-то суживаясь до тонюсенькой полоски, практически исчезая, а потом снова набирая силу, вздымаясь и бурля над порогами, спадая водопадами с холмов и вновь сходя на нет.

## 2.

«Ну вот пошто мне дед твой таку пакость сделал?» – не унималась Клавдия. Ворча и бубня под нос проклятия, она ковляла к веранде, поставлен-

ной Степаном двадцать лет назад на откосе между баней и домом. От веранды к бане стелились деревянные мостки, петлявшие между грядками с редькой и картошкой, огибающие теплицы и большой чан с водой для полива. Когда Иван с Игнатом поставили новое каменное крыльцо и хотели приступить к кривым деревянным помостам, Клавдия чуть ли не костями на них легла: «Не пуцу! Ишь! Супротив меня! Шольные! Нукошь вас к чортам собачьим!» Опасаясь, как бы бабка не сбрендилась, мужики плюнули на это дело: «А ну тебя, сама же еле ковляешь по этой рухляди!»

У бани, топившейся по-черному, красовался аккуратный синий домик с расписными птицами на крыше, в котором прятался колодец. Много лет назад, когда колодец внезапно стал мельчать, мельчать, так что почти обмелел, Степка позвал в помощь соседа, чтобы углубить, вернуть воду. Самодельным грейфером черпал глиняно-песчаную смесь, ругался, обвязываясь канатами, задышался на дне, но веры не терял. Понимая тщетность происходящего, но жалея соседа, напарник Степки то и дело намекал: участок-то вон какой большой, давай, мол, поищем другой источник, хоть скважину пробьем. Но Степан привык добиваться своего, припоминал упорную любовь к молодой Лиде, и снова спускался на дно, вооружившись лопатами и ведрами.

Неизвестно, сколько времени провел бы Степан в колодце и чем это завершилось, если бы не беда. Лидия, хворавшая уже несколько месяцев, умерла. В считанные дни она иссохла, отказалась от еды, скрестила руки на впалой груди и лежала практически неподвижно. Как когда-то давно: посиневшая и замерзшая. Степка ухаживал за женой сам, обмывал, смазывал пролежни, переворачивал, разговаривал, привозил врачей, но, встретившись однажды с пристальным Лидийкиным взглядом, понял, что свет этой жизни потух много лет назад, замерз в заметных, схваченных морозом лесах, припорошен и давно покоится с миром. Лидийку оплакали и похоронили, а вода в колодец вернулась следующей же весной...

«Глянь, Олька, чаво дед с батькой твоим сотворили – не изба, а царицны хоромы теперь у меня!» – Клавдия смахнула бремя воспоминаний, кивнула светленькой девчужке, игравшей возле веранды, и рассмеялась. Пятилетняя Олюшка захихикала в тон прапрабабушке, особенно не вникая, доверяя отцовым словам о том, что бабу Клашу надо просто всегда слушаться и любить. Все лето праправнучка гостила у Клавдии, пока родители-археологи искали памятники истории в горах Урала.

Сын Ивана, Игнат, женился рано, студентом, на своей сокурснице Насте. Женились, что называется, по залету, но жили дружно и даже счастливо. Дочь Ольгу воспитывали сами, по очереди бегали в детский сад, нянчились, выстраивали быт, и все у них получалось легко и гладко. Настя на год, не раздумывая, взяла декретный отпуск в университете, поэтому Игнат получил образование раньше, устроился работать на свою же кафедру, чем значительно облегчил получение диплома и жене.

Когда Ольге исполнилось пять лет, супруги решились вместе выехать на археологические раскопки – воплотить давнюю мечту Игната прикоснуться к настоящей истории. И прикасались к ней уже второй месяц, исправно присылая родным телеграммы и обещая вернуться не позднее, чем бабье лето отцветет. Клавдия хоть и любила правнука всей душой, и жена его была ей очень мила, но возвращением молодых особенно не грезила – очень уж славно ощущала она себя рядом с Иваном да Ольгой.

Летние дни у семьи проходили незатейливо. Иван каждое утро встречал по привычке, зародившейся еще в детстве, – с первыми же петухами бежал трусцой до речки, делал заплыв и также трусцой возвращался к дому. На эту утреннюю процедуру у него уходило от силы минут пятнадцать, зато потом весь день он проводил в бодром и благостном расположении духа. Бабка Клавдия, редко ощущавшая в себе признаки, похожие на чувство радости бытия, традиционно бурчала, слышал счастливое Ванькино посвистывание: «И чему дурак радуется, тыфу ты прости ж оспади!»

Иван не обижался, любил и бабуку, и весь мир вокруг себя бесхитростно, добро и открыто – в действительности точно так, как любят дураки. После купания, мыча мотивы задорной песенки «Проснись и пой», готовил завтрак, каждый раз придумывая для Ольги игривость – то кашу с глазами-ягодками и арбузной улыбкой, то оладушки в виде мордочки рыжего кота, то яичницу-сердечко.

Ольга обожала деда, тянулась к нему, стараясь всегда быть где-то рядом, в зоне видимости и досягаемости. Весь ее день словно был посвящен ему, если игры – главный герой обязательно дед, если рисование – первым делом рисунок деду показать. С дедом гулять, играть, обедать, рыбу ловить, грибы собирать, сказки читать. Клавдия радовалась этой идиллии и тому, что на ее старые кости не повесили всю заботу о ребенке, и тому, что девчушка растет славной и умной. В свои пять Ольга прекрасно читала и считала, и мать планировала на год раньше положенного отдать ее в первый класс.

Если Иван весь день был занят хозяйством и внучкой, то Клавдия считала своим ежедневным долгом печь хлеб и топить баню. Правда, на баню у нее со временем сил практически не осталось, поэтому Ваня проводил подготовку: качал насосом воду в бочки, убирал золу, готовил дрова, закладывал их в печь, не забыв подложить березовой коры и вчерашних газет, чтобы огонь быстрее схватился. Бабке оставалось только доковылять до бани, не забыв обругать внука за мостки, чиркнуть спичкой, «обласкав» за сырость и неправильно сложенные поленья, да постоять, подбоченясь, возле бани, глядя, как Иван с Ольгой дерут мокрицу для кур: «Ну-ну, коренья-то обрывайте, пошто ленитесь-то, куда уж курам коренья-то, да в земле не оставляйте, ну, удумали!»

Одно правда, что хлеб Клавдия пекла уж исключительно сама. Хороший хлеб, пышный, на опаре, как мать учила, – с хрустящей корочкой и белым мякишем, славно скатывающимся в ладони, что особенно любил Ванька. Скатает колобочек – и в суп его, да смотрит, пока комочек намокнет и расплавится, набухнет, точно губка, а уж потом только съедает. Вкусно.

А Ольга над корочкой изгаляется – мякиш выгрызет, чтобы лодочка получилась, и пускает ее в дальнейшее плавание, картофелины в супе с одного берега тарелки на другой перевозить. А бывает еще бой: лупят ядра – мякишевые колобки из Ивановой тарелки – по хлебной Олькиной лодке, только макароны в разные стороны разлетаются. Иван с Ольгой в голос смеются, Клавдия злится, полотенцем машет, порой да как подшлепнет, что все в кухне брякает, летит куда-то, а расшалившиеся еще сильнее потешаются над этой бабкиной неумелой строгостью.

«Ух, шалопай, будет вам в иной раз хлебушек!» – грозится Клавдия, а сама уже отходит, глаза смеются, рукой отмахивается и идет георгины возле веранды поливать.

### 3.

Временами на сознание Клавдии опускался туман. Сядет она, бывает, на крыльцо с вязанием, петли провязывает, пришепывая «изнаночная, накид, лицевая, лицевая, изнаночная», да и зачудится вдруг. Вот Степка бежит, рот черничный, опять у матери все ягоды съел, что она на варенье насобираала, – «Ну, гляди, сейчас узнает, будет тебе, Степаша!».

То вдруг почудится, что Лидия кричит из сеней, детей зовет, собирайтесь, мол, пора обедать.

Годами живешь  
с непоколебимой верой,  
что складывается он  
в идеальную картинку,  
пока однажды секундное  
дело, мысль, слово –  
и вот оно что,  
оказывается: думал,  
яблоневый сад собираешь,  
а судьбой тебе пустынный  
мираж уготован был.

«Да с чего же это она кричать будет? И не кричала-то ведь никогда, земля ей пухом заснеженным», – сплюнет Клавдия и снова считает свои петельки. Ольке на зиму шапка будет, с рукавицами и шарфом, ярко-синие в белый рубчик. Синяя пряжа с Ванькиного свитера пошла, а белую бабке Игнат привез из города.

Игнат вообще много всего Клавдии привозил. Если Иван Степанович старуху баловал работой и заботой, то Игнат Иванович – подарками. Умел их подбирать всегда так, чтобы Клавдии и нравились, и в быту пригождались. Игнат сообразил поменять две из трех печей в доме на тепловой котел, радиаторы устанавливали рабочие, которых он сам и привез из города. Дров теперь нужно было запасаать гораздо меньше, хлопот по растопке не было никаких, а большую русскую печь затапливали, только если бабке приспичит кости погреть или шанег напечь.

Потом Игнат придумал сделать систему водоснабжения – в колодец установили насос, подвели трубы к дому и шланги – к бане. Клавдия первое время охала от гудящих звуков, издающихся в подполе, крестилась и смотрела, как заворачивающе вода бежит из крана, который, конечно, тоже привез Игнат.

Но и это не стало пределом восторгу и удивлениям Клавдии. Самым настоящим чудом для нее оказался водонагреватель, который родные долго и шумно устанавливали в подвале – чтобы вода не

только могла бежать прямо в дом, но чтобы она еще и теплая была. К бойлеру старуха так и не смогла привыкнуть, да и забывала все время переключать кнопку для нагрева и по-прежнему пользовалась холодильником. Да и где это видано – 90 лет носить воду, стирать тряпки и умываться по утрам из ковшика свежей колодезной водой, а тут на тебе, бабушка, водопровод.

Клавдия ухмыльнулась, обтерла тыльной стороной руки беззубый рот («пасть свою», как сама, смеясь, называла вставную челюсть, давно бросила, впихивала в рот редко, с трудом, чаще она болталась в высоком граненом стакане на верхнем приступке у печки) и снова начала считать: «Лицевая, изнабочная...»

А еще стала она за собой замечать: воспоминания – точно и не воспоминания вовсе. Слово жизнь заново мелькает. Вот маленькая Клаша, все в точности до деталей встает в памяти – в калошах за мать в поле бежит, платочком машет. А вот и батя – папиросу жует, черный чуб ежеминутно головой потряхивает. Степь помнится, туман, перекапти-поле, целина...

Провязывает Клавдия петельки, а перед глазами все вращается: и огонь, и голод, и два огромных куска сахара, полученных от солдата («Так ли запомнила? Да за что? А бог его знает теперь, не помню»).

– Во-о-от такие! – приставляет старуха один кулак к другому, поднимая руки, точно в молитве, и показывает в пустоту невидимому собеседнику. Вязание падает на колени, Клавдия замирает. – Нет, не помню, за что, – мотает головой. Снова протирает рот и возвращается к шапке.

Странное дело, из воспоминаний убегают детали последних десятилетий. Нет-нет да и забудет старуха, что за девчонка бегает вокруг нее. Соседская, что ли? Или к Лидии опять пришла?

А то и вовсе. Смотрит на Игната – «Степка, а ну давай быстро обрядаться! Зойка не доена!». Постоит, постоит, руками за голову схватится, да и заплачет – нет уже Степки-то ее, десять лет как нет. Одно только воспоминание душу изматывает: сидит Степан на крыльце, под глазами мешки, бледный, руку к груди прижимает, лицо перекошено, да сказать-то ничего не может, а вокруг черным-черно от ягод рассыпанных, которые Степка, как жена когда-то, собрал для варенья.

– Степан, Степан, что ты?!

Молчит Степан, навсегда молчит. Оседает на деревянное крыльцо, клонится на бок и заваливает-

ся – как дерево срубленное: грузно, тяжело. Старые ступени скрипят, недовольные этой мертвой тяжестью, и тоже клонятся.

Странная штука – жизненный пазл. Годами живешь с непоколебимой верой, что складывается он в идеальную картинку, пока однажды секундное дело, мысль, слово – и вот оно что, оказывается: думал, яблоневый сад собираешь, а судьбой тебе пустынный мираж уготован был.

#### 4.

Клавдия сколько себя помнит – всегда была бабой бойкой и предприимчивой. Эта черта досталась ей от матери, с которой Клава была прочно связана невидимыми родственными нитями, коими в то же время тяготилась. Любила мать крепко и чуралась этого, гнала прочь любые проявления нежности. Не принято было.

Мать умерла рано, едва дожив до пятидесяти. Плакать по этому поводу Клавдия начала многими годами позже, когда жизнь вышла на колею ровную, по крайней мере, как об этом могла судить сама Клава. Степка женился, корова давала хорошие надои, теленка не забрал колхоз, поросят двоих зарезали, поле вспахали. А главное, конечно, мир был на земле. Клавдия старалась не вспоминать о войне, укравшей мужчин, здоровье, время.

«Было да прошло, надо ли беречь», – рассуждала Клавдия, кутаясь в мамину старую шаль. Вспоминала, что мужики, вернувшись с войны, никогда о тех событиях вслух не говорили. Кто расспрашивал – отшучивались как могли или вовсе молчали. Стопку нальют, кивнут друг другу понимающе, выпьют и снова молчат.

Промелькнет еще в Клавдийкиной памяти – степь, метет со всех сторон, ветер завывает. Огни, огонь. Немцы дома обчищают, смеются громко, поджигают... Да, жила бы мама еще, да оставлены все ее годы там, в огне, голоде, холоде, горьких страданиях по братьям, мужу, сыновьям, дочери Клавдийке, в два года умершей от кори.

Клавдия знала, что ее называли в честь погибшей сестры. «Ее хоронить, а тебя кстить», – рассказывала мать. Так уж вышло. Девочке было несколько дней, когда маленькая Клавдийка померла. В семье не стали рассуждать, братья решили – привыкли, мол, к Клавдии, так малую, значит, и будут звать.

– Вот и живу теперь за двоих, долго, тяжело, да ничего. Степку с Ванькой подняла и тебя тоже подыму. – Бабка потрепала Ольгу за косичку.

Хорошая девчонка Ольга. Клавдии она нравилась, чувствовалась родня, черты их, Игнаткины, даже нет, Степкины больше черты, не Настины никак.

По матери Клавдия тосковала в самые неожиданные минуты. Решила как-то кустарник ирги огородить или пересадить в дальний угол участка. Опасалась, что Степан повредит. Он тогда искал воду, чтобы скважину пробить, делал раскопки то в одном, то в другом месте, скрещивал две проволоки, водил ими над землей, вышагивал по огороду, как Дон Кихот, перетоптал все анютины глазки, делал такое серьезное лицо, что Клавдия прыскала со смеху, шершавыми пальцами терла глаза и хваталась за бок от смеховых колик.

Куст ирги был добротный, урожайный, и хотя ягоду эту, кроме Клавдии, никто больше в семье не ел, она относилась к нему с особенной заботой. Его высаживала мать Клавы, это был самый первый плодоносящий кустарник, появившийся на пустом участке, который выделили семье невообразимо какими страданиями Клавдийкиной матери. Соседка до конца жизни после этого обходила семейство стороной, все ей чудились в материной предприимчивости и напористости вражеские происки.

Ирга весной пышно и красиво цвела мелкой белой россыпью, а к концу июня начинала щедро розоветь, к июлю ягоды набухали, становились почти черными и прекрасно сладкими. Клавдия любила их в любом виде, каждый раз удивляясь, отчего это ирге ничего с годами не делается, отчего ягод не становится меньше и отчего это она, бабка древняя, никак не перестанет их любить.

Больше всего теперь, когда старческие переломанные кости отказывали, Клавдия любила расположиться под кустом, облокотившись на угол дома, нагрести в кулак ирги, причмокивать и наблюдать, как сверху жадные птицы клюют ягоды и те с брызгами разлетаются в разные стороны. Ничего завораживающего. Гадкие птицы жрали любимую бабкину ягоду, а у той вызывало это странное умиление и теплые воспоминания. Вот сидят они с матерью также на приступке, едят иргу, гоняют птиц, и слушает Клаша фантастические истории от матери – безумные, местами совершенно пугающие, но такие удивительные, что девочка сидит замороженно, не шелохнувшись.

Больше всего Клаве запомнилась история про длинную полосатую змею, напоминающую солитера, которая заползала спящей девочке в рот и жила у нее в животе, пока та целый день бегала, играла – жила своей обычной девчачьей жизнью. Но стоило этой девочке лечь спать, как рот ее открывался,

змея выползала и начинала подбедать все запасы в доме. С первыми же петухами змея возвращалась в свой дом-живот, и все повторялось снова и снова ночь за ночью, день за днем.

Клавдия в красках воображала свои видения, сама же их и боялась. По старой коже бежали мурашки – такие же старые, как и сама она. Могут ведь мурашки быть старыми, если они бегают по старой бабкиной коже? Бабки-мурашки. Клавдия засмеялась над своими мыслями и сорвала еще кулак ирги, оборвала вместе с листьями и ветками, сжала жадно, так, что некоторые ягоды расплющились, алый сок покатился по сморщенной Клавдийкиной ладони к запястью, затем ниже к скукоженному старостью локтю и стал капать на землю крупными кровавыми каплями. Клавдия смотрела на них, и слезы катились по ее впалым старческим щекам.

## 5.



Дом Клавдии стоял на высоком берегу реки, из маленьких оконцев с резными наличниками в разные стороны разбегалась деревня – вся как на ладони. Широко по побережью рассыпало разноцветные домики. По деревне бежали песчаные дорожки, участки разбивались всеми формами и фигурами, при каждом доме топились печи и бани, пахло парным молоком и свежими кулебяками.

С угора берег казался маленьким, а река – бескрайней. Лес вылезал из-за дальних холмов густыми начесами, то зеленея, то краснея, то чернея вдаль. По берегу рыбаки тянули сети, старый Семен гнал коров на пастбище, соседская девчонка бежала на полоскалку к товаркам.

Река вздымалась весной, журчала летом и осенью, к зиме замирала. К пристани прибегали теплоходы и катерки, с мая привозили ребятню к старикам на летние каникулы. Деревня жила, и Клавдия ее любила. Сколько раз молодежь уговаривала бабушку уехать в город, оставить дом, продать, бросить совсем или возвращаться на лето. Но Клавдия не могла. Окидывала взглядом свои владения – и в тоске отмахивалась. «Ну нет, сей год надо проредить смородину да баню справить, а там уж видно будет», – находила очередную отговорку и успокаивалась.

Кусты красной и черной смородины богато поросли по периметру всего участка вдоль забора. Живая изгородь начиналась с угора, от самого дома, и спускалась ниже и ниже, мимо летней веранды к бане и задней калитке, которая выходила на дорогу у реки. Узкая грунтовка, по которой проезжали к пристани, отделяла Клавдийкин участок

от топких берегов, густо поросших где кувшинками и камышами, где ивняком. Грунтовка огибала топкое место, делала небольшой крюк и выходила на песчано-каменистый широкий берег.

Чтобы сократить путь до реки, Степан сколотил деревянный настил через болотце, поставил округлые мостики там, где места были особенно топкие. Весной этот путь сильно топило, часто вода закрывала дорогу, иногда доходила до бани. Даже в самые сухие времена выйти на мостики можно было разве что к июлю. Деревянные настилы со временем от бесконечных иловых вод стали коричневатозелеными, скользкими и отдающими болотиной, но пройти по ним до реки все же было можно, при этом сократив путь практически вдвое. Степан гордился своей едва заметной тропой в ивняке, хотя в основном народ предпочитал ходить окольными путями, избегая если не топких мест, то жуткого комарья и клещей в кустах.

Клавдийкин участок с трех сторон был огорожен высоким – выше человеческого роста – забором, окрашенным в яркий синий цвет. Когда свои возвращались из города в деревню – хоть рекой, хоть дорогой – первым делом примечали синие тучи забора и алый маяк крыши. С четвертой стороны, по переду, ровно стояли треугольные наконечники низенького забора, упирающегося с одной стороны в дровяник, с другой – в расписную избушку колодца, переодетого Иваном с сыном из деревянного прогнившего бруса в железобетонные и полимерные кольца.

Сам дом был окрашен в зеленый цвет, крыльцо отливало коричневато-оранжевым – в те времена, когда оно еще было деревянным и Клавдийка сбегала по нему вприпрыжку, помахивая цветастым платочком, теперь же, в свои новые времена, ступени бликовали серыми оттенками.

Краска на доме выгорала, облупливалась мелкими чешуйками по верху дома и крупными – по низу. Местами цвет был совсем потерян, узнаваемый окрас сохранился только в самых укрытых местах, например, за крупными стволами яблони или кустами черемухи, разросшейся так, что ветви ее практически обнимали половину дома, затемняя комнату, где спала бабка, и давно не используемую поветь.

Клавдия обновляла цвет нечасто, последний раз дом красили перед десятилетием Игнатки. Красили дружно, семейным подрядом. Руководила процессом Маруся – не просто бойкая, статная, яркая женщина, подарившая Клавдии любимого правнука, но больше того – невестка, заменившая бабке дочь

– Это будет цвет влюбленной жабы, – смеялась Маруся в ответ на возражения бабки. – Под крышей сделаем цвет гусеницы, а наличники останутся белыми – ну кр-р-асота-а ведь ка-ка-я!

и на годы ставшая ей главной помощницей, душой и силой всей семьи.

Тогда из привычного «лесного зеленого» дом впервые перекрасили, изменив оттенок на более светлый.

– Это будет цвет влюбленной жабы, – смеялась Маруся в ответ на возражения бабки. – Под крышей сделаем цвет гусеницы, а наличники останутся белыми – ну кр-р-асота-а ведь ка-ка-я!

Маруся любила делить слова на слоги, как бы подчеркивая их важность, при этом смысл и интонация не всегда совпадали. Жена Ивана работала в сельской школе учительницей русского языка и литературы, держала на классном руководстве самый сложный класс, умудрялась вести внеурочную деятельность – таскала «своих тунеядцев» по всем мыслимым и немислимым мероприятиям, да еще и руководила семейной жизнью.

Иван, находившийся в состоянии безумной влюбленности и восхищения женой, к покраске дома отнесся с обреченным согласием.

– Мань, ну, может, это, ну его на фиг, столько ведь мороки с этой перекраской, а, Мань, – подростково ныл, но послушно полз на лестницу с крупнозерновой наждачной бумагой, сдирая перчатки и кожу на руках шлифовкой старого покрытия.

Пока Клавдия ворчала, а Иван вздыхал, энергичный Степан с энтузиазмом подключился к перекраске дома. Суетливо бегал, подбирая кисти, советовался с Марусей по поводу того, правильно ли будет снять наличники перед покраской, смешивал эмаль и удалял лишние подтеки уайт-спиритом. Игнат в это время носился с игрушечной саблей вокруг

дома, лупил лопухи и рубил крапиву, Маруся, подвывая волосы хлопковым платком, весело пела за покраской, а Клавдия наигранно и непрестанно охала.

За неделю дом привели в порядок, он стал казаться выше и современной, гармоничней вписывался в синий забор, кричавший всем людям на другом берегу, что вот здесь, да-да, именно здесь живет то, что все так долго и не в том месте ищут – любовь и счастье.

## 6.

Иван с Марусей познакомились на свадьбе: лучший Ванькин друг женился на старшей Марусиной сестре. Робкий и тихий, он тайком поглядывал на Марью, восхищаясь ее красотой, грацией и – больше всего! – энергией. Девушка заводила гостей в танец, устраивала конкурсы, организовала «похищение» и «выкуп» невесты. Смелая, нарядная, грациозная, Марья кружила в танце то с одним, то с другим кавалером, громко смеялась, и, казалось, ни одно обстоятельство не могло ввести ее в смущение.

Другое дело Иван. Даже выпитая водка не помогала раскрепостить его, осмелеть настолько, чтобы просто пригласить девушку на танец. Друзья подтрунивали над смущением парня, веселило это и саму Марусю. Она сразу заметила застенчивого молодого человека, высокого и худощавого, и по тому, как он весь вечер не сводил с нее своих блестящих карих глаз, понимала эту симпатию и всей душой стремилась к ней.

Спустя время, когда уже на свет появился Игнат, Маруся рассказывала о своих волнениях, вспоминала, как к концу сестриной свадьбы переживала, что Ивашка так и не подойдет, так и не скажет ничего, что девушке придется брать инициативу в свои руки, а этого ей совсем не хотелось делать. Нет, она не боялась и не переживала из-за предрассудков, и будь на месте Ивана любой другой парень – подошла бы, не раздумывая. Но тут был иной случай. Маруся своим девичьим сердцем чувствовала, что все с этим парнем будет иначе, только бы Иван сам сделал первый шаг.

Счастье – это смелость. Смелый человек совершает поступки. Берет волю в кулак и делает. Уходит из чужих мест, где мучится незванным гостем, приходит туда, куда зовет его сердце, находит силы на слова, борется за правду и мечту. Может быть, идет вброд или совершает дальний заплыв, прорывается сквозь буреломы или бредет по выжженной пустыне – каким бы долгим и сложным или



быстрым и легким ни был путь смелого человека к своему счастью, он не побоится суеты и не погрязнет в ней.

Иногда для чего-то большого нужен совсем малый шаг, но именно он кажется совершенно невозможным.

Так Маруся романтизировала жизнь, верила в то, что счастье нужно заслужить поступком, и он, этот поступок, у каждого свой. Кому-то предстоит пройти великий путь, свернуть горы и покорить океаны, а для другого это будет один шаг от порога до порога, скромный, вобравший всю силу духа, внешне совершенно ничемный, но такой весомый и значимый, что все, что было раньше, станет мелким и ненужным, перечеркивающим былое и вдыхающим жизнь в будущее.

Может быть, потом, дальше в своей жизни, человек будет побеждать, достигать, влиять, рождать, строить, тяжело и много работать. Но это уже не будет для него таким же большим, как тот самый маленький шаг, сделанный в начале пути не против воли, но по велению своего сердца. На этом пути нельзя мешать, нельзя помогать. Это момент, который определяет, найдет ли человек то, что для него бережно хранит судьба. Заслуживает ли он его?

Иван определенно заслуживал. Шаг к Марусе оказался для него тем самым маленьким большим поступком, изменившим жизнь, а Марья верила, хотела верить, что если он сделает этот шаг, значит, и судьба определена.

Иван подошел к Марусе под конец праздника. В тот момент, когда молодая, прежде чем уйти с супругом в первую брачную ночь, смеясь, повернулась спиной к девчатам, нарядно выстроившимся в полукруг, перекинула через голову свой свадебный букет, и тот, перелетев вверх поднятых ему навстречу рук подружек, приземлился к ногам Ивана. Девушки кинулись к цветам, но Ваня уже прижимал их к себе, улыбался, скромно и тревожно поглядывал на Марусю, в конце концов, собравшись с духом, протянул букет.

Подружки хохотали, гости веселились. Марья с Иваном тоже смеялись, и никто, кроме них самих, не видел за этим озорным смехом совершенный замес чувств и эмоций. Смущение и радость, вера и ожидание, неизвестность и страх, вопросы и восклицания, сомнение и любовь. Тут было юно-зеленое все.

Спустя несколько часов, встречая рассвет на берегу, он слегка касался рукой ее спины меж лопаток, каждым пальцем ощущая под тонким кружевным платьем нежную кожу, едва-едва обнимал, как

фарфоровую куколку, словно боясь спугнуть птицу счастья, так неожиданно, незвано и нечаянно (не по ошибке ли?) попавшую в его руки.

7.

Клавдия тосковала. Так бывало, когда воспоминания выводили ее из зарослей молодости, «мутных» Лидийкиных времен или Ивашкиного взросления, огибали время полного беспамьятства и возвращали к Марусе. Редко какой человек мог так сильно запасть в бабкину душу. Она приняла девушку в первый же день, когда Иван привел ее знакомить с семьей.

Маруся с порога заявила: «Вот только давайте без шуточек про цветы иван-да-марья, ничего интересного!», чем ошарашила Степана и рассмешила Клавдию. Без кокетства и жеманства Марья запросто пошла помогать на огороде, наравне со всеми пахала землю, не чуралась раскидывать под кусты конский навоз, помогала Клавдии с закрутками, но при всей своей простоте совершенно не казалась деревенщиной.

Бабка восторженно наблюдала, как Маруся что-то усердно пишет вечерами, обложившись книгами, эти часы казались Клавдии такими сокровенными, что она не смела даже шорохом беспокоить студентку. Сама Клава всегда стремилась к знаниям, когда-то давно училась в школе, радуясь тому, что в стране помогают неграмотным, но учиться дальше не позволила жизнь. К людям науки бабка относилась с пиететом, старалась помалкивать, когда у Маруси с Ваней собирались компании, но всегда прислушивалась к разговорам. Обо всем же самом умном Клавдия узнавала из книг да газет и журналов, которые выписывала пачками.

Сначала молодожены жили на два родовых дома, но когда Марья окончила институт и устроилась в поселковую школу, совсем переехали к Клавдийке. На этом настаивала и сама бабка, она тянулась к энергии, которая кипела в молодежи. Марусиной активности можно было только поражаться. До последнего дня своей беременности она вела уроки в школе, а уже находясь при схватках, успела принять итоговый экзамен у выпускников.

Декретный отпуск у Марьи был недолгим, спустя год она решила отдать мальчишку в ясли и выйти на работу. Клавдии к тому времени было уже за семьдесят, но она активно помогала в воспитании маленького Игнатки и твердо решила, что присматривать за правнуком будет сама.

– Я еще жива и со своими мальчуганами в силах справиться! Думаєте, я бабка, из ума выжившая? Ну уж нет! Нечего моему наследнику в яслях делать! – настаивала Клавдия, хотя ей, в общем-то, никто и не перечил.

Маруся отвечала глубокой взаимностью бабке, любила ее как родную, всегда была к ней мягка и терпелива. За время, проведенное в декрете, они сроднились так, будто Марья родилась здесь, в Клавдийкином доме, и жила с ней бок о бок всю жизнь. Они делили заботы «о мальчиках»: самый старший из них, Степан, вставал раньше всех, Клавдия кормила его кашей с брусникой и собирала на работу. Уже около семи утра на своем узике он уезжал на работу в райцентр, где занимался делами развития поселка, а какими именно – бабка ума не прикладывала.

К тому времени поднимался на пробежку Иван, затем обливался холодной водой, на скорую руку жевал яичницу – кашу на дух не переносил с детства, прыгал на велосипед или на своих двоих бежал на пилораму.

Маленький Игнатка просыпался только к восьми. Маруся его кормила, умывала и вывозила в коляске во двор, к яблоневому саду или смородиновой аллее. День у двух женщин был обычным, незатейливым – приготовить еду, напечь пирогов, обрядить корову с козами, выпустить кур, в огороде прополоть, постирать. После обеда, во время дневного Игнаткиного сна, Маруся работала с книгами, что-то записывала, подчеркивала, помечала закладками. Временами задумывалась, смотрела в окно, а потом опять много писала.

Клавдия тем временем хозяйничала по дому, ходила к соседкам или в магазин, а если позволяла погода – прогуливала Игната в коляске.

Вечером вся семья собиралась за большим столом. Это было самое шумное и самое любимое бабкино время. Степан рассказывал шутки и небылицы, услышанные за день на работе, Иван описывал, какую они новую избу или баню срубили, Игнатка улыбался на всех, ползал, а потом уже и бегал под столом.

Клавдия с Марусей любили баловать своих домашних разносолами, ужин всегда был трапезой плотной, по-своему, по-деревенски, богатой. Прямо в котелке из печи в центр стола ставилась картошка, запеченная в мундире, к ней Клавдия делала грибную подливу либо взбивала свежую сметану. Обжаривали дольки кабачков, резали салаты из овощей с огорода. Любили захарить сельдь, треску потушить на молоке. Или же наварить ушицы из щуки – мужики носили рыбеху по выходным, в три утра в субботу

натягивали бродни и уходили на реку. Возвращались к обеду, а к вечеру снова уходили.

Подавали к ужину и сухари, и свежиспеченный хлеб. Редьку в квасе особенно любил Иван. Бывало, делала Маруся свое коронное блюдо – птицу «в полете»: засыпала огромный противень солью, ставила на него узенький чугунок, а сверху на него усаживала самую упитанную выпотрошенную курицу и запекала в печи на углях. Румяную аппетитную курочку, выпорхнувшую из печи, улететьывали мгновенно.

Выпечки на Клавдийкиной столе было традиционно много. Дрожжевое тесто бабка замешивала в больших десятилитровых кастрюлях и тазах, никого к нему не подпускала, сама ранним утром просеивала муку, месила, топила печь и ставила чаны ближе к теплу, чтобы тесто схватилось и хорошо поднялось. К девяти утра печь затапливали уже по второму кругу, чтобы успели созреть угли, и бабка Клавдия запускала сначала – в самый жар – хлеб, а сама тем временем крутила пироги. Шаньги и калитки; шанежки пресные, с ложкой сметаны, стекающей вверх; рыбники и кулебяки; каравай из ржаных сухарей. Осенью в ходу были черемушники и брусничники – маленькие ватрушки с ягодами, перетертыми с сахаром.

Запивалось все это домашним пивом, тминным и иван-чаем, брусничным и клюквенным морсами, мятным напитком, морковным квасом либо же киселем из меда или моршки – все это женщины делать умели, и делали. И ни один их совместный ужин за все годы, проведенные бок о бок, не мог обойтись без того, чтобы домочадцы, ухохотавшись и объевшись, не выползали из-за стола кто куда – кто к печи, кто к газете, кто к кровати или к лоту. В этот период жизнь в Клавдийкином доме проходила так, как она сама любила – шумно и сытно, громко и людно; на застолья приходили соседи и друзья, и никого из них никогда здесь не обижали, а принимали как своих.

Клавдия вспоминала эти времена жалче всего, закрывала глаза, сидя на лавке у печи, и не могла поверить, как все это совсем не замечалось раньше, но как дорого оказывается теперь.

## 8.

На работу Маруся вышла не на полный день. Вела уроки с утра и к обеду возвращалась домой. Днем помогала Клавдии по хозяйству, а вечером устраивалась под лампой с тетрадами и книгами. Сначала проверяла ученические тетради, а потом занималась своими трудами.

Бабка боялась этого, где-то в глубине души предугадывая свою трагедию, ощущала, что в тетрадах тех, что пишет ночами напролет Маруся, растет ее, бабкина, боль.

– И что ты там все пишешь, Марья? Ну, проверила писанину своих неучей, и ладно, – не понимала Клавдия.

Маруся улыбалась в ответ, отмахивалась, многозначительно кивала, а иногда и позволяла себе отвлечься на разговор.

– Мам Клаш, да не переживай ты, я ведь не зря в институте училась, я хочу не только нашим деткам знания передавать и тут вот в огороде мокрицу полоть, понимаешь? Есть у меня идея одна, вот хочу ее в жизнь воплотить. Поселку нашему помочь. Да и не только поселку, а вообще, сельским детям, чтобы они тоже могли знания получать, как и городские, – поясняла по-простому Маруся. Клавдия внимательно слушала ее, но все равно мотала головой.

– Ну, чаго, какие такие знания? Так же школа вона, училки работают. Ты ж вот и учишь! Неужто хуже городских?

Для Клавдии Марья была светочем знаний. Она понимала, что эта девушка не просто грамотная, умная, а энергичная, бабка слышала, про таких говорят – перспективная. В ней бьет ключ, который невозможно спрятать, зарыть, укрыть от всех в маленькой сельской избушке. Бабка боялась этого, где-то в глубине души предугадывая свою трагедию, ощущала, что в тетрадах тех, что пишет ночами напролет Маруся, растет ее, бабкина, боль. Она пока что не осознавала, в чем именно это кроется, но интуиция подсказывала, что эта наука принесет ей горечь.

В три года Игнатку все-таки решено было устраивать в детский сад. Маруся настояла на том, что мальчику нужно развиваться, социализироваться.

– Чаво-чаво делать?

– Со-ци-а-ли-зи-ро-вать-ся. От слова «социум» – общество. Ну, учиться общаться с другими людьми.

– О-о-ой, тьфу, шольное молодь! Да какими людьми! А я ему что, не людь, чо ли?

Маруся, смеясь, обнимала тонюсенькую бабку всем своим пышным телом, старалась приободрить, обещала пораньше приходиться с работы, чтобы Клавдия не чувствовала себя одиноко. Конечно же, эти обещания не сбывались. Марья все дольше оставалась в школе, теперь у нее был полный рабочий день, несколько классов, вернулось классное руководство. После ужина до полуночи Маруся по-прежнему корпела над своими тетрадками, которых накопилась уже целая полка. Иногда Клавдия подходила к ним, смотрела, открывала, пыталась что-то понять, но смысл слов едва был знаком.

«Школьная реформа», «социальная селекция», «развитие образования на селе», «роль инноваций в сельской школе», «культурно-просветительский потенциал» – эти вырванные из контекста фразы нагоняли тоску.

Маруся занималась фундаментальным трудом, писала диссертацию, которая была посвящена этапам развития отечественных сельских школ. Примером Марья брала свои классы, над которыми ставила образовательные эксперименты и успех которых наблюдала. Педагогический опыт Маруси был небольшим, но достаточным, чтобы, как она считала, вдохнуть в сельское образование новое дыхание. Она не хотела, чтобы деревенские школы отставали от городских, областных. Тем более чтобы они ограничивали свою работу средним или начальным звеном.

Марусина работа имела большое значение не только для местного образования, но и для нее самой, для ее карьеры. Учиться дальше, двигаться вперед. Защитив диссертацию, Марья поступила заочно на факультет государственного управления. Через два года ее перевели в районную школу, потом – в областной центр, где Марья за несколько лет выросла из школьного учителя в завуча, а спустя еще время возглавила школу, став директором. Карьерный рост Марьян был быстрым и шустрым, как она сама: каких-то десять лет – и вот уже она решает глобальные задачи образования целого края.

Марья улетела из Клавкиного гнезда, разбив бабкино сердце.

– Мам Клаш, ну как ты не понимаешь? Надо нам в город переезжать, я и так два года езжу туда-сюда из райцентра, тя-же-ло! Да и Игнату учиться надо, что он тут, в сельской школе?

– Так ты, Маруся, не уезжай, и тут есть кого учить, ты сама ведь за это была, ну что ты, Марусяка.



верила в свою теорию о поступках, ведущих к личному счастью, поэтому уговаривать остальных не стала, просила только, чтобы приезжал чаще.

– Тут твой дом, Ваня. По Клавдии я тоже скучаю и беспокоюсь, поживи с ней, но я всегда буду тебя дома ждать. – Этим была поставлена точка в мучениях городской жизни Ивана.

## 10.

В деревню Иван вернулся в мае. Клавдия хоть и радовалась, как ребенок, возвращению внука, но никак не могла взять в толк:

– Так нушто вы разошлись, ну-ка правду скажи! Обидел бабу? Ну? Шольной! Обидел, говорю? – выспрашивала, заглядывала внуку в глаза, махала кочергой.

Иван смеялся. Такой легкости на душе он не испытывал давно. Смеялся, целовал бабу и объяснял в сотый раз, нет, мол, вместе мы, к тебе просто пожить приехал, тебе буду помогать, а Марья навещать будет и в отпуск приедет, как работа позовлит.

– Да и дети скоро на каникулы приедут, чего ты! Ольку к нам привезут! Игнат с Настей собираются на раскопки в горы, будет тебе веселье – девчонкой займешься. – Иван обнимал Клавдию, та изворачивалась от его нежностей, на радостях и не зная, как быть, верить ли внуку, да что и ждать теперь.

Первые ночи бабка потихоньку пробиралась в комнату к Ивану – посмотреть, тут ли он, не приснилось ли ей все это. Половицы скрипели, Иван просыпался с испугу:

– Тыфу ты, ну мам Клаш, успокойся уже! Тут я, тут, чокнусь с тобой точно! Смотри, доведешь, в город обратно уеду ведь.

– Что ты, что ты, спи, я так просто, вроде как думала, что зовешь ты, что ли, меня. – Клавдия уходила, прикрывая за собой дверь, но снова заглядывая, чтобы убедиться: дома Ивашка, завернувшись в свое старое пуховое одеяло, как в детстве, подпихнул уголок под щеку и спит, поджав губу.

Потом успокоилась окончательно.

«Тут он, тут. Дома мой Ивашек».

Клавдия улыбалась беззубым ртом. Завернувшись в шаль – майские ночи студёные, – босыми ногами шла по уютному дереву сеней. Приотворив дверь на улицу, окидывала взглядом свои владения, перешагнув высокий порог, пальцами ног нащупывала крыльцо.

«Шаткое совсем, надо сказать Ивану, пушай как смастерят, что ли, с Игнатом, раз уж приедет скоро. Или не нать. Вот ведь попортят крыльцо мне, михрютки такие. Ну ладно, сами, что ли, придумают чаго. Уж приедут главное, приедут. А там и Марусяка вернется, куда ж бабе этой шольной без нас...»

Покивав сама себе, Клавдия вдыхала свежий весенний воздух и плелась обратно в избу, поглаживала перила ветхого крыльца, по которому когда-то девчонкой сбегала вприпрыжку, помахивая цветастым платком, и на котором теперь почти уже столетней бабкой караулит и ждет своих самых дорогих людей, тех, ради кого и следующие сто лет отдавала бы всю себя без остатка.

